

Два гусара Посвящается графине М. Н Толстой

...Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова...
Д. Давыдов

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.

I

– Ну, все равно, хоть в залу, – говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

– Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный, – говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». – Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать; так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый номер, – говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост, портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек – здешних дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.

Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.

– Сашка, – крикнул граф, – дай ему! Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.

– Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.

– Сашка! дай ему целковый!

Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.

– Будет с него, – сказал он басом, – да у меня и денег нет больше.

Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.

– Вот пригнал! – сказал граф, – последние пять рублей.

– По-гусарски, граф, – улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. – Вы здесь долго намерены пробить, граф?

– Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и номеров нет. Черт их дери, в этом кабаке проклятом...

– Позвольте, граф, – возразил кавалерист, – да не угодно ли ко мне? я вот здесь, в седьмом номере. Коли не побрезгуете покамест прокочевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

– Право, граф, погостите, – подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек, – куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает – выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф?

– Сашка! давай белье: поеду в баню, – сказал граф, вставая. – А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть.

Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.

– Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан, – крикнул граф из-за двери.

– Сделайте одолжение, осчастливите, – отвечал кавалерист, подбегая к двери. – Седьмой номер! не забудьте.

Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:

– А ведь это тот самый.

– Ну?

– Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар, – ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебеядни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была – мы вместе сотворили, – от этого он как будто ничего. А молодчина, а?

– Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно, – отвечал красивый молодой человек, – как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?

– Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? – он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар – душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебеяднский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебеяднь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с оранжевыми отворотами, с тем чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебеядни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошлое, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.

– Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. – Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом. – Едешь, бывало, перед эскадрой; под тобой черт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотр. «Поручик, говорит, пожалуйста – без вас ничего не будет – проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут – есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!

Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой номер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастье, которое ему выпало на долю, – жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что, – приходило ему в голову, – как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или просто... Нет, по-товарищески не сделает...»-утешал он себя.

– Блюхера накормить, Сашка! – крикнул граф. Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.

– Ты уж не утерпел, напился, каналья!.. Накормить Блюхера!

– И так не издохнет: вишь, какой гладкий! – отвечал Сашка, поглаживая собаку.

– Ну, не разговаривать! пошел накорми.

– Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

– Эй, прибью! – крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.

– Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека, – проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.

– Он мне зубы разбил, – ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера, – он мне зубы разбил. Блюшка, а все он мой граф, и я за

него могу пойти в огонь – вот что! Потому он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?

Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.

– Вы меня просто обидите, – говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели, – я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостью готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!

– Спасибо, батюшка, – сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, – спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?

Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет; что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только – малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запекает, и что нынче к ним все от предводителя собираются.

– И игра есть порядочная, – рассказывал он. – Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в восьмом нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж нескупой – последнюю рубашку отдаст.

– Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, – сказал граф.

– Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.

II

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и пятнадцать тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, – что уже и казенных не доставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту – валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных не доставало уже двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.

Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. в К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы, – задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он собирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь», – подумал он.

«Погубил я свою молодость», – сказал он вдруг сам себе, не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость, – он даже вовсе и не думал об этом, – но так ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать? – рассуждал он. – Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая барыня, – подумал он отчего-то. – Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое

необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало две с половиной тысячи рублей. «Поставлю первую двадцать пять, вторую – угол... на семь кушей... на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят... три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.

– Что, давно встали, Михаиле Васильич? – спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.

– Нет, сейчас только. Отлично спал.

– Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского... не слышали?

– Нет, не слышал... А что же, еще никого нет?

– Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.

Действительно, скоро вошли в номер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокурный заводчик, игравший по целым ночам, всегда сепелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.

– Надо вообразить, – говорил он, – Москва – первопрестольный град, столица – и по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих – и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.

Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался:

– Что ж, господа, золотое-то времечко терять! За дело, так за дело!

– Да, вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравится, – сказал грек.

– Точно, пора бы, – сказал гарнизонный офицер.

Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.

– Будете метать? – спросил улан.

– Не рано ли?

– Белов! – крикнул улан, покраснев отчего-то, – принеси мне обедать... я еще не ел ничего, господа... шампанского принеси и карты подай.

В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись выпили шампанского и через пять минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.

– Экой молодчина улан! – говорил он. – Усищи-то, усищи-то!

У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.

– Что, вы играть собираетесь, кажется? – сказал граф. – Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! – прибавил он, улыбаясь.

– Да вот, собираются, – отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт, – а вы, граф, не изволите?

– Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. Проигрался под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то, с перстнями, должно быть, шулер, – и облапошил дочиста.

– Разве ты долго сидел там на станции? – спросил Ильин.

– Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель не забудет.

– А что?

– Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенницкая рожа, плутовская, – лошадей нет, говорит; а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату, – знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказываю отворить настежь все двери и форточки: угарно будто бы. Ну, и тут то же. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце – градусов двадцать было. Смотритель разговаривать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, схватили горшки и бежать было на деревню... Я к двери; говорю: давай лошадей, так уеду, а то не выпущу, всех заморожу!

– Вот так отличная манера! – сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом, – это как тараканов вымораживают!

– Только не укараулил я как-то, вышел, – и удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке она все чихала и богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером

притравливал, – отлично берет зрителей Блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер!.. Фю!

Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.

– Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болтун, – сказал Турбин, – любишь не любишь – дело хорошее.

III

Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

– Так же, как вчера, – банку двести, – сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

– Хорошо, – сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «Пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкмета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завалыневский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал: «Вывези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему: только изредка его очки на мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

– Вот бы мне эту карточку убить, – приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине.

– Вы бейте у Ильина, а мне-то что, – замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкмета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

– Ильин! – сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который, совершенно невольно для него, заглушал все другие, – зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

– Уж как ни играй, все равно.

– Так ты наверно проиграешь. Дай я за тебя попонтирую.

– Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.

– За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься.

– Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкмета.

– Скверно! – вдруг проговорил он громко и протяжно.

Лухнов оглянулся на него.

– Скверно, скверно! – проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову. Игра продолжалась.

– Не-хо-ро-шо! – опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.

– Что это вам не нравится, граф? – учтиво и равнодушно спросил банкмет.

– А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.

Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выразившее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть.

– Блюхер, фю! – крикнул граф, вставая, – узи его! – прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: «Кто тут грубит? а?»

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.

– Этак нельзя играть, – сказал он, – я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут!

– Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажется, – поддакнул гарнизонный офицер.

– Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? – сказал Лухнов хозяину.

– Не мешай нам, пожалуйста, граф! – обратился Ильин к Турбину.

– Поди сюда на минутку, – сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.

Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда слышно было за три комнаты.

– Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках – шулер первой руки.

– Э, полно! что ты говоришь!

– Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?

– Нет; да и с чего ты выдумал?

– Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю; я тебе говорю, что в очках – это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

– Ну, вот я только одну талию, и кончу. – Знаю, как одну; ну, да посмотрим.

Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много.

Турбин положил руки на середину стола.

– Ну, баста! Поедем.

– Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста, – сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.

– Ну, черт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора! Завальшевский! поедем к предводителю.

И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору.

– Эка башка! – сказал помещик, смеясь.

– Ну, теперь не будет мешать, – прибавил торопливо и еще шепотом гарнизонный офицер. И игра продолжалась.

IV

Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Александр, Елисавета» и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить: екатерининский генерал-губернатор со звездой, под руку с художавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д. – губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский, в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели владимирский крест и медаль двенадцатого года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами, темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем: красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на смех подымет этот мальчишка» – было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» – было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончился и пары взаимно раскланивались, снова отделяясь женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливый и гордый, подвел графа к хозяйке. Предводительша, испытывая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар этот не сделал с ней при всех какого-нибудь скандала, гордо и презрительно отворотясь, сказала: «Очень рада-с! надеюсь, будете танцевать?» – и недоверчиво взглянула на него с выражением, говорившим: «Уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после этого». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своею любезностью, внимательностью и прекрасной веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица предводительши уже говорило всем окружающим: «Я знаю, как вести этих господ: он сейчас понял, с кем говорит; вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что еще больше успокоило губернскую публику и возвысило в ее мнении графа. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре – молодой поленькой вдовушке, с самого приезда графа впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение.

– А мастер танцевать! – сказала толстая помещица, следя за ногами в синих рейтузах,

мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз, два, три... – мастер!

– Так и строчит, так и строчит, – сказала другая приезжая, считавшаяся дурного тона в губернском обществе, – как он шпорами не заденет! Удивительно, очень ловок!

Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии: и высокого белобрысого адъютанта губернаторского, отличавшегося своею быстротой в танцах и тем, что он держал даму очень близко, и кавалериста, отличавшегося грациозным раскачиванием во время вальса и частым, но легким притоптыванием каблук, и еще другого, штатского, про которого все говорили, что он хотя и недалек по уму, но танцор превосходный и душа всех балов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца приглашал всех дам по порядку, как они сидели, не переставал танцевать ни на минуту и только изредка останавливался, чтоб обтереть сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изнуренное, но веселое лицо. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами: с большой – богатой, красивой и глупой, с средней – худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой – некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу: с ней он танцевал и кадрили, и экосес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платье или из одной руки в другую перекидывая опахало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите», – и т. п., голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.

Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутки разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила; но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающей любезностью почтителен, по теперешним понятиям, до приторности. Он бегал ей за оршадом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее, и т. д.

Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты; уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас стать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось: вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренно влюблен в нее.

Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний восемнадцатилетний обожатель, неслужащий сын самого богатого помещика, золотушный молодой человек, тот самый, у которого вырвал стул Турбин, она приняла его чрезвычайно холодно, и в ней не было заметно и десятой доли того смущения, которое она испытывала с графом.

– Хороши вы, – сказала она ему, глядя в это время на спину Турбина и бессознательно соображая, сколько аршин золотого шнура пошло на всю куртку, – хороши вы: обещали за мной захватить кататься и конфет мне привезти.

– Да я ведь приезжал, Анна Федоровна, а вас уже не было, и конфеты самые лучшие оставил, – сказал молодой человек, несмотря на высокий рост, очень тоненьким голоском.

– Вы найдете всегда отговорки! не нужно мне ваших конфет. Пожалуйста, не думайте...

– Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменялись, и знаю отчего. Только это нехорошо, – прибавил он, но, видимо, не докончив своей речи от какого-то внутреннего сильного волнения, заставившего весьма быстро и странно дрожать его губы.

Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным.

Предводитель, хозяин дома, величаво-толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую, сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную.

– Ну, что? мил? – спросила барышня.

– Только ужасно как пристает, – отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него.

Лицо ее просияло, глаза засмеялись, она покраснела даже и вдруг, подражая балетным танцовщицам, которых видела на этих выборах, перевернулась на одной ножке, потом засмеялась своим

горловым, но милым смехом и припрыгнула даже, поджав колени.

– Каков? он у меня сувенир просил, – сказала она приятельнице, – только ничего ему не бу-у-дет, – пропела она последнее слово и подняла один палец в лайковой, до локтя высокой перчатке...

В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах.

– Когда все благородное дворянство нашего уезда почтило его выбором, – говорил вновь выбранный исправник, уже значительно выпивший, – то он не должен был манкировать перед всем обществом, никогда не должен был...

Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не отказался ехать с ними в компании после бала в новый трактир, где он угасивает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.

– Что ж вы не танцуете, господа? – спросил он перед тем, как выходить из комнаты.

– Мы не танцоры, – отвечал исправник, смеясь, – мы больше насчет вина, граф... А впрочем, ведь это при мне повыросло, все эти барышни, граф! Я этак иногда тоже в экосесе пройдуся, граф... могу, граф...

– А пойдем теперь пройдемся, – сказал Турбин, – разгуляемся перед цыганами.

– Что ж, пойдемте, господа! потешим хозяина.

И человека три дворян, с самого начала бала пившие в кабинете, с красными лицами, надели кто черные, кто шелковые вязаные перчатки и вместе с графом уже собрались идти в залу, когда их задержал золотушный молодой человек, весь бледный и едва удерживая слезы, подошедший к Турбину.

– Вы думаете, что вы граф, так можете толкаться, как на базаре, – говорил он, с трудом переводя дыхание, – оттого, что это неучтиво...

Снова против его воли запрыгавшие губы остановили поток его речи.

– Что? – крикнул Турбин, вдруг нахмурившись. – Что? Мальчишка! – крикнул он, схватив его за руки и сжав так, что у молодого человека кровь в голову бросилась, не столько от досады, сколько от страха, – что, вы стреляться хотите? Так я к вашим услугам.

Едва Турбин выпустил руки, которые он сжал так крепко, как уже двое дворян подхватили под руки молодого человека и потащили к задней двери.

– Что, вы с ума сошли? Вы напилесь, верно. Вот папеньке сказать. Что с вами? – говорили они ему.

– Нет, не напился, а он толкается и не извиняется. Он свинья! вот что! – пищал молодой человек, уже совершенно расплакавшись.

Однако его не послушали и увезли домой.

– Полноте, граф! – увещевали с своей стороны Турбина исправник и Завальшевский, – ведь ребенок, его секут еще, ему ведь шестнадцать лет. И что с ним сделалось, нельзя понять. Какая его муха укусила? И отец его почтенный такой человек, кандидат наш.

– Ну, черт с ним, коли не хочет...

И граф вернулся в залу и, так же как и прежде, весело танцевал экосес с хорошенькой вдовушкой и от всей души хохотал, глядя на па, которые выделявали господа, вышедшие с ним из кабинета, и залился звонким хохотом на всю залу, когда исправник поскользнулся и во весь рост шлепнулся посередине танцующих.

V

Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующеюся графом, стала расспрашивать: «Что это за гусар такой, что со мной танцевал? скажите, братец». Кавалерист объяснит сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли и что он сам дал ему сто рублей займа, но этого мало, так не может ли сестрица ссудить ему еще рублей двести; но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и наконец, сделав над собою усилие, таким образом приступила к делу.

– Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастье было и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была.

Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа.

– Ваш братец дурак! – сказал он резко. – Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?

У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.

– Женщину целуют при всех, – тихо сказал граф, нагнувшись, ей на ухо. – Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать, – потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.

– Ах, только не сейчас, – проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая.

– Так когда же? Я завтра рано еду... А уж вы мне это должны.

– Ну, так, стало быть, нельзя, – сказала Анна Федоровна, улыбаясь.

– Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтоб поцеловать вашу руку. Я уж найду его.

– Да как же вы найдете?

– Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно... Так хорошо?

– Хорошо.

Экосес кончился; протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, лоя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно, по-варшавски, так что все старики вышли из-за бостона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцевали еще гротеск и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании – видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда, без шубы, на двор, к тому месту, где стояли экипажи.

– Анны Федоровны Зайцевой экипаж! – закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. – Стой! – закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.

– Чего надо? – отозвался кучер.

– В карету надо сесть, – отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. – Стой же, черт! Дурень!

– Васька! стой! – крикнул кучер на форейтора и остановил лошадей. – Что ж в чужую карету лезете? это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета.

– Ну, молчи ж, болван! На тебе целковый да слезь закрой дверцы, – говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым басоном, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, собирался слезть. Но граф ничего не слышал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали: «Зайцевой карету!», кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты.

– Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, – сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, – я тебя вздую, а не скажешь – еще десять рублей.

Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился: так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салона по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустила на сиденье подле него.

Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна; но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну, уж теперь поцелую-таки вашу ручку», – она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыв поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась.

– Скажи ж что-нибудь. Ты не сердись? – говорил он ей.

Она молча прижалась в свой угол, но вдруг отчего-то заплакала и сама упала головой к его груди.

VI

Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.

– Батюшка ваше сиятельство! ждали не дождалось! – говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросаясь снимать шубу. – С Лебедяни не видали...

Стеша зачала совсем по вас...

Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими, глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу.

– А! графчик! голубчик! золотой! вот радость-то! – заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой.

Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством.

Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы; старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каждый начинал испытывать пресыщение; вино, потеряв возбуждительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухарства и пригляделся один к другому; все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал:

– Шампанского!., граф приехал!., шампанского!., приехал!., ну, шампанского!., ванну сделаю из шампанского и буду купаться... Господа дворяне! люблю благородное дворянское общество... Стешка! пой «Дорожку».

Кавалерист был тоже навеселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокой красивой цыганкой Любашей и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал ими, помахивал головою и, повторяя одни и те же слова, шепотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросала изредка взгляды на своего мужа, косоного Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, душков и ленту.

– Ура! – закричал кавалерист, когда вошел граф.

Красивый молодой человек, с озабоченным видом, старательно, твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в серале».

Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него все расстроится и лучше не ехать, лежал на диване, куда он повалился тотчас, как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем сам доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще с приездом графа кутеж оживился.

Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запевалу, себе на колени и велел еще подать шампанского.

Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась пляска, то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары...», «Слышишь, сумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пенья, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикивание при начале хора – все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт, песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывал ногой гитару, перевертывал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи и до пяток начинало плясать каждой жилкой... И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскаливая зубы, вскрикивали, в лад и в такт, одна громче другой. Басы, склонив головы набок и напряжив шеи, гудели, стоя за стульями.

Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли.

Когда заиграли плясовую и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделявая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом.

Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал: «Виват!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пятьсот осталось, и что он может сделать все, что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и

хотел уехать, но его не пустили. Красивый молодой человек упрашивал цыганку протанцевать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина.

– Ах ты, мой голубчик! – сказал он, – зачем ты только от нас уехал? А? – Граф молчал, видимо, думая о другом. – Куда ездил? Ах ты, плут, граф, уж я знаю, куда ездил.

Турбину отчего-то не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалериста и вдруг пустил в упор на него такое страшное, грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду: в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбнулся и пошел опять к своей цыганке, уверял ее, что он на ней непременно женится после святой. Запели другую песню, третью, еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагою, но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела «Дружбы нежное волнение». В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра.

Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать впрыска. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и, к общему хохоту, медлительно вылил на него всю бутылку.

Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа.

– Однако мне пора в Москву, – сказал он вдруг, вставая. – Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня... и чаю напьемся.

Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, набились битком в трое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу.

VII

– Закладывать! – крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. – Сашка! не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальшевский! распорядись чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он, – прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в номер улана.

Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном, заваленном картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове улана никаких не было: какой-то густой туман игорной страсти застилал все его душевные способности; даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить пятнадцать тысяч проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи, – и на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только на щели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры; он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает девятку, кладет короля пик на две тысячи рублей, направо ложится дама, налево туз, направо король бубен, – и все пропало; а ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался, поставил бы еще всё на пе и выиграл бы тысячу пятнадцать чистых, купил бы себе тогда иноходца у полкового командира, еще пару лошадей, фаэтон купил бы. Ну, что же еще потом? да ну и славная, славная бы штука была!

Он опять лег на диван и стал грызть волосы.

«Зачем это поют песни в седьмом номере? – подумал он. – Это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нешто туда да выпить хорошенько». В это время вошел граф.

– Ну что, продулся, брат, а? – крикнул он.

«Притворюсь, что сплю, – подумал Ильин, – а то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется».

Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове.

– Ну что, дружок любезный, продулся? проигрался? говори.

Ильин не отвечал.

Граф дернул его за руку.

– Проиграл. Ну что тебе? – пробормотал Ильин сонным, равнодушно недовольным голосом, не переменяя положения.

– Все?

– Ну да. Что ж за беда. Все. Тебе что?

– Послушай, говори правду, как товарищу, – сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. – Право, я тебя полюбил. Говори правду: ежели проиграл казенные, я тебя выручу; а то поздно будет... Казенные деньги были?

Ильин вскочил с дивана.

– Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной, оттого что... и, пожалуйста, не говори со мной... пулю в лоб – вот что мне осталось одно! – проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах.

– Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меня тут. Граф вышел из комнаты,

– Где стоит Лухнов, помещик? – спросил он у коридорного.

Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.

– Вы, кажется, меня не узнаете? – сказал граф, решительными шагами подходя к столу. Лухнов узнал графа и спросил:

– Что вам угодно?

– Мне хочется поиграть с вами, – сказал Турбин, садясь на диван.

– Теперь?

– Да.

– В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь я устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли винца? доброе винцо.

– А я теперь хочу поиграть немножко.

– Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.

– Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

– Ни за что не будете? Опять тот же жест.

– А я вас очень прошу... Что ж, будете играть?.. Молчание.

– Будете играть? – второй раз спросил граф. – Смотрите!

То же молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.

– Будете играть? – громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась. – Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю.

– Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку, – заметил Лухнов, не поднимая глаз.

Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, – и закричал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.

– Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем номере еще пробуду полчаса, – прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.

– Мошенник! грабитель!.. – послышалось оттуда. – Под уголовный подведу!

Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещания графа выручить его, лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы – все было навеки потеряно. Источник слез начал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.

На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.

– На! отыграл! – сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. – Сочти, все ли? Да приходи скорей в общую залу, я сейчас еду, – прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты.

VIII

Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде

взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменял на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинель не нужно, и пошел в свой номер переодеваться.

Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтоб повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что барорай (по-цыгански: граф или князь, или, точнее, большой барин) прогневаётся. Вообще, уже догорала во всех последняя искра разгула.

– Ну, на прощанье еще песню и марш по домам, – сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.

Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.

– У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста, – сказал он, – эти твои, стало быть.

– Хорошее дело! давай!

Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.

– Убирайся! Илюшка!.. слушай меня... на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы. – И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.

Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильин, Стешка, Илюшка и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выровнялись, и цыгане затянули хоровую песню.

Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы.

Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами.

Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом.

Ильин, выпивший довольно много на прощанье и все время правивший сам лошаадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно, со слезами, бросился целовать своего нового друга и обещал, что, как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и наконец вскочил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, который все хотел стоять на середине, Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у них графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул: «Пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.

Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчинной пазухой сидела на другом возу, погоняя концами вожжей белую телохвостую клячку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.

– Назад! – крикнул он.

Ямщик не понял вдруг.

– Поворачивай назад! пошел в город! живо!

Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцевой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящею, взял ее

на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.

IX

Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарелось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погребло, много прекрасного молодого выросло и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет божий.

Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью природы любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком... При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.

В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодой, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и на этой белой толщине были заметны крупные, мягкие морщины. Она уж не ездила никогда в город, с трудом даже влезала в экипаж, но так же была добродушна и все так же глупенька, – можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрехлетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое имение и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась; а все-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста.

В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад, сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой кацавейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги – занятие, которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза уже были слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекидывая ногу на ногу.

– Как это кладется? Лизанька, покажи-ка. Я все забываю, – сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса.

Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты.

– Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! – сказала она, перекидывая карты, – вот так надо было. Все-таки сбудется, что вы загадали, – прибавила она, незаметно снимая одну карту.

– Ну, уж ты всегда меня обманываешь: говоришь, что вышло.

– Нет, право, значит удастся. Вышло.

– Ну, хорошо, хорошо, баловница! Да не пора ли чаю?

– Я уж велела разогреть самовар. Сейчас пойду. Вам сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пойдем бегать.

И Лиза вышла из двери.

– Лизочка! Лизанька! – заговорил дядя, пристально вглядываясь в свою рогульку, – опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!

– Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть. И действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.

– Вот вам, чтобы не спускали петлей, – сказала она, смеясь, – урок и не довязали.

– Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек было видно.

Лиза взяла рогульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнуло немного ветром из окна, и как-то булавочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рогульку дяде.

– Ну, поцелуйте же меня за это, – сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку, – вам с ромом нынче чаю? Нынче ведь пятница.

И она опять ушла в чайную.

– Дяденька, идите смотреть: гусары идут к нам! – послышался оттуда звучный голосок.

Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.

– А жаль, сестрица, – заметил дядя Анне Федоровне, – жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще: попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры – ведь это все такая молодежь славная, веселая; посмотрел бы хоть на них.

– Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостиная да вот эта ваша комната – вот и всё. Где же их тут поместить, сами посудите. Им Старостину избу очистил Михаиле Матвеев; говорит – чисто тоже.

– А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха приискали, славного гусара! – сказал дядя.

– Нет, я не хочу гусара; я хочу улана: ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.

И Лиза покраснела немного, но снова засмеялась своим звучным смехом.

– Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что видела, – сказала она.

Анна Федоровна велела позвать Устюшку.

– Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бегать на солдат смотреть, – сказала Анна Федоровна. – Ну, что, где поместились офицеры?

– У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие! Один граф, сказывают.

– А фамилия как?

– Назаров ли, Турбинов ли; не запомнила, вино-вата-с.

– Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.

– Что ж, я сбегаяю.

– Да уж я знаю, что ты на это мастерица, – нет, пускай Данило сходит; скажите ему, братец, чтоб он сходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; все учтивость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела.

Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров.

– Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то, – говорила она, – просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.

Другие горничные одобрительно улыбнулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, втягивая в себя дух, какую-то молитву.

– Так вот как тебе понравилась гусары, – сказала Лиза, – да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша, – кисленьким гусаров поить.

И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты.

«А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой, – думала она, – брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут была и об нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется, – подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку. – Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно, маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюбился, кроме Ивана Ипатыча рябого; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня».

Голос матери, звавший ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную.

Лучшие вещи всегда выходят нечаянно: а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частью дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя – дочку, отдала ее кормилице и няньке, кормила ее, одевала в ситцевые платица и козловые башмачки, посылала гулять и собирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста – и нечаянно через шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме.

У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах, – но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая; глаза у ней были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем – уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки так и светилось, как назло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, – так и светилось не испорченное умом, доброе, прямое сердце.

Х

Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни, рысцой, оглядываясь и с мычаньем изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли, на вороных, замунштученных, изредка пофыркивающих конях, топя, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распушенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой – очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов.

Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.

– Где квартира для нас отведена? – спросил его граф.

– Для вашего сиятельства? – отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом, – здесь, у старосты, избу очистил. Требовал на барском дворе, так говорят: нетути. Помещица такая злющая.

– Ну, хорошо, – сказал граф, слезая и расправляя ноги у Старостиной избы, – а что, коляска моя приехала?

– Изволила прибыть, ваше сиятельство! – отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и бросаясь вперед в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть па офицеров. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом.

Изда была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, оставив железную кровать и постлав ее, разбирал белье из чемодана.

– Фу, мерзость какая квартира! – сказал граф с досадой. – Дяденко! разве нельзя было лучше отвести, у помещика где-нибудь?

– Коли ваше сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор, – отвечал Дяденко, – да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывает.

– Теперь уж не надо. Ступай.

И граф лег на постель, закинув за голову руки.

– Иоган! – крикнул он на камердинера, – опять бугор посередине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько.

Иоган хотел поправить.

– Нет, уж не надо теперь... А халат где? – продолжал он недовольным голосом. Слуга подал халат. Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу.

– Так и есть: не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! – прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его, – ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?..

– Я не мог успевать, – отвечал Иоган.

– Дурак!

После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его; а

Иоган вышел в сени раздувать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа, – должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.

– Иоган! – крикнул он снова, – подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?

Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.

– К чаю рому подай.

– Рому не покупал, – сказал Иоган.

– Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!

– Денег не доставало.

– Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.

– Корнет Полозов? не знаю. Они купили чаю и сахару.

– Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения... знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.

– Вот два письма из штаба к вам, – сказал камердинер.

Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.

– Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.

– Очень хорошо! Поганая вонючая изба и рому нет по твоей милости: твой болван не купил, и этот тоже. Ты бы хоть сказал.

И он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол.

– Отчего же ты не купил рому? – спрашивал в это время в сенях корнет шепотом у своего денщика, – ведь у тебя деньги были?

– Да что ж мы одни все покупать будем! И так все я расход держу; а ихний немец только трубку курит, да и все.

Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф, улыбаясь, читал его.

– От кого это? – спросил Полозов, возвратись в комнату и устраивая себе ночлег на досках подле печки.

– От Мины, – весело отвечал граф, подавая ему письмо. – Хочешь прочесть? Что это за прелесть женщина!.. Ну, право, лучше наших барышень... Посмотри, сколько тут чувства и ума, в этом письме!.. Одно нехорошо – денег просит.

– Да, это нехорошо, – заметил корнет.

– Я ей, правда, обещал; да тут поход, да и... впрочем, ежели прокомандую еще месяца три эскадронами, я ей пошлю. Не жалко, право! что за прелесть!.. а? – говорил он, улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо.

– Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит, – отвечал корнет.

– Гм! еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят.

– А то письмо от кого? – спросил корнет, передавая то, которое он читал.

– Так... это там есть господин один, дрянной очень, которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает... не могу я отдать теперь... глупое письмо! – отвечал граф, видимо огорченный этим воспоминанием.

Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красивую отуманившуюся наружность Турбина, пристально глядевшего в окно, и не решался начать разговора.

– А что, ведь может отлично выйти, – вдруг, обернувшись к Полозову и весело тряхнув головой, сказал граф, – если у нас по линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело попадем, я могу своих ротмистров гвардии перегнуть.

Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данило и передал приказание Анны Федоровны.

– Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Иваныча Турбина? – добавил от себя Данило, узнавший фамилию офицера и помнивший еще приезд покойного графа с город К. – Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были.

– Это мой отец был; да доложи барыне, что очень благодарен, ничего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно, комнатку почище где-нибудь, в доме или где-нибудь.

– Ну зачем ты это? – сказал Полозов, когда Данило вышел, – разве не все равно? одна ночь здесь разве не все равно; а они будут стесняться.

– Вот еще! Кажется, довольно мы пошлялись по курным избам!.. Сейчас видно, что ты непрактический человек... Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А они, напротив, ужасно довольны будут. Одно только противно: ежели эта барыня точно знала отца, – продолжал граф, открывая улыбкой свои белые, блестящие зубы, – как-то всегда совестно за папашу покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-нибудь. От этого я

терпеть не могу встречать этих отцовских знакомых. Впрочем, тогда век такой был, – добавил он уже серьезно.

– А я тебе не рассказывал, – сказал Полозов, – я как-то встретил уланской бригады командира Ильина. Он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца.

– Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтоб подделаться ко мне, и, как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда, я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи, – он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость.

Через четверть часа вернулся слуга и передал просьбу помещицы пожаловать ночевать в доме.

XI

Узнав, что гусарский офицер был сын графа Федора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась.

– А, батюшки мои! голубчик он мой!.. Данило! скорей беги, скажи: барыня к себе просит, – заговорила она, вскакивая и скорыми шагами направляясь в девичью. – Лизанька! Устюшка! приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде; а вы, братец... братец! вы в гостиной уж ночуйте. Одну ночь ничего.

– Ничего, сестрица! я на полу лягу.

– Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хоть погляжу на него, на голубчика... Вот ты посмотри, Лиза! А отец красавец был... Куда несешь стол? оставь тут, – суежилась Анна Федоровна, – да две кровати принеси – одну у приказчика возьми; да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и калетовскую свечу поставь.

Наконец все было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнатку для двух офицеров. Она достала чистое, надушенное резедой постельное белье и приготовила постели; велела поставить графин воды и свечи подле на столике; накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась с своею постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая их, оперлась на пухлый локоть и задумалась. «Времечко-то, времечко как летит! – шепотом про себя твердила она. – Давно ли, кажется? как теперь гляжу на него. Ах, шалун был! – И у нее слезы выступили на глаза. – Теперь Лизанька... но все она не то, что я была в ее года-то... хороша девочка, но нет, не то...»

– Лизанька, ты бы платьице муслин-де-леневое надела к вечеру.

– Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо, – отвечала Лиза, испытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров, – лучше не надо, мамаша!

Действительно, она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастья, которое, как ей казалось, ожидало ее.

– Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка! – сказала Анна Федоровна, глядя ее по волосам и вместе с тем думая: «Нет, не те волоса, какие у меня были в ее годы... Нет, Лизочка, как бы я желала тебе...» И она точно чего-то очень желала для своей дочери; но женитьбы с графом она не могла предполагать, тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать, – но чего-то такого она очень-очень желала для своей дочери. Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которою она жила с покойником.

Старичок кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и с смущенно-довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает Сальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату.

– Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица! Покойник граф точно истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю...

Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату.

– Ну, вот видишь ли, – сказал граф, как был, в пыльных сапогах, ложась на приготовленную постель, – разве тут не лучше, чем в избе с тараканами!

– Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам...

– Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно... Человек! – крикнул он, – спрости чего-нибудь завесить это окошко, а то ночью дуть будет.

В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснея несколько, разумеется не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением, и даже сказал, что он не раз был благодетельствован покойником. Разумел ли он под благодетельствами покойного то, что тот так и не отдал ему занятых, ста рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его, – старичок не объяснил нисколько. Граф был весьма учтив с старичком

кавалеристом и благодарил за помещение.

– Уж извините, что не роскошно, граф (он чуть было не сказал: ваше сиятельство, – так уж отвык от обращения с важными людьми), домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь, и будет хорошо, – прибавил старичок и, под предлогом занавески, но главное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая, вышел из комнаты.

Хорошенькая Устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю.

Хорошее помещение, по-видимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа: он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном, расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов, так нельзя ли теперь водки, закусить чего-нибудь и хересу, ежели есть.

Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантажнее прежних.

Анна Федоровна не соглашалась – лучше графа Федора Иваныча никто не был, – и наконец уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали, а что все-таки граф Федор Иваныч так танцевал экосес и так любезен был, что тогда все, можно сказать, без ума от него были; только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди».

В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса.

– Ну вот, как же вы, братец! Вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать, – заговорила Анна Федоровна. – Лиза! распорядись, дружок!

Лиза побежала в кладовую за грибами и свежим сливочным маслом, повару заказали битки.

– Только хересу у вас осталось, братец?

– Нету, сестрица! у меня и не было.

– Как же нету! а вы что-то пьете такое с чаем?

– Это ром, Анна Федоровна.

– Разве не все равно? Вы дайте этого, все равно – ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, братец? Вы всё знаете. Они, кажется, не обидятся?

Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гро-гро и новый чепец; а Лиза так была занята, что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована: ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятым, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи – все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он думает и говорит, должно быть умно и правда; все, что он делает, должно быть честно; вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно.

Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу.

– Пойдем же, – сказал он Полозову.

– Право, лучше не ходить, – отвечал корнет, – ils feront des frais pour nous recevoir¹.

– Вздор! это их осчастливит. Да я уж и навел справки: там дочка хорошенькая есть... Пойдем, – сказал граф по-французски.

– Je vous en prie, messieurs!² – сказал кавалерист только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.

XII

Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, торопливо вскочила, поклонилась и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенья или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад, потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал

¹ они израсходуются для того, чтобы принять нас (франц.).

² Прошу вас, господа! (франц.).

случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф за чаем, закулив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала, в промежутки непрерывных речей Анны Федоровны, вставляя свои рассказы, а под конец один овладев разговором. Одно немного странно поражало его слушателей: в рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелы, причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела; но граф не замечал этого и был все так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправаясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокаивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видела той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он нисколько не отличался от всех тех, кого она видела, что не стоило бояться его, – только ногти чистые, длинные, а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски расставшись с своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» – думала она.

XIII

После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место.

– Да вы отдохнуть не хотите ли, граф? – спрашивала она. – Так чем бы вас занять, дорогих гостей? – продолжала она после отрицательного ответа. – Вы играете, в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь...

– Да ведь вы сами играете в преферанс, – отвечал кавалерист, – так уж вместе давайте. Будете, граф? И вы будете?

Офицеры изъявили согласие делать все то, что угодно будет любезным хозяевам.

Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, приедет ли сегодня соседка и т. д. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.

– Только вы не станете по маленькой играть, может быть? – спросил дядя. – Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки... И то она нас всех обыгрывает.

– Ах, по чем прикажете, я очень рад, – отвечал граф.

– Ну, так по копейке ассигнациями! уж для дорогих гостей идет: пускай они меня обыграют, старуху, – сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилию.

«А может, и выиграю у них целковый», – подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.

– Хотите, я вас выучу с табелькой играть, – сказал граф, – и с мизерами! Это очень весело.

Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это то же, что и бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет и все для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться и торопливо уверять, что не совсем ещё привыкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более, что граф, по привычке играть большую коммерческую игру, играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистованье.

Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного моченья опортовые яблоки и остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров и в особенности на белые с тонкими розовыми отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки.

Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию братца уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась.

– Ничего, мамаша, еще отыграетесь!.. – улыбаясь, сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения. – Вы дяденьку обремизите раз: тогда он попадетя.

– Хоть бы ты мне помогла, Лизочка! – сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь. – Я не знаю, как это...

– Да и я не знаю по этому играть, – отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери. – А вы этак много проиграете, мамаша! и Пимочке на платье не останется, – прибавила она шутя.

– Да, этак легко можно рублей десять серебром проиграть, – сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор.

– Разве мы не ассигнациями играем? – оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна.

– Я не знаю как, только я не умею считать ассигнациями, – сказал граф. – Как это? то есть что это ассигнации?

– Да теперь уж никто ассигнациями не считает, – подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше.

Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, раскраснелась и, казалось, на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала. Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф списывал ремизы старушки. Наконец партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривя душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может счесть, как ни приходила в ужас от величины своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов. «Это ассигнациями выходит девять рублей?» – несколько раз спрашивала Анна Федоровна, и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока братец, к ужасу ее, не объяснил, что она проиграла тридцать два рубля с полтиной ассигнациями и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет, – вступил с ней в разговор о погоде.

Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа и особенно Лизы, поддерживавшей ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась.

– Однако как досадно, что мы вас так обыграли, – сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь. – Это просто бессовестно.

– Да еще бы, выдумали какие-то табели да мизеры! Я в них не умею; как же ассигнациями-то, сколько же выходит всего? – спрашивала она.

– Тридцать два рубля, тридцать два с полтинкой, – твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа, – давайте-ка денежки, сестрица... давайте-ка.

– И дам вам все; только уж больше не поймаете, нет! Это я и в жизнь не отыграюсь.

И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскочиваясь, вернулась назад и принесла девять рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все.

На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбрала его, ежели он заговорит с ней. Он молча потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые разговаривали у открытого окна.

В комнате на накрытом для ужина столе стояли две сальные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате.

Почти полный месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких лип и больше и больше освещал белые тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллеи, заливались лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички.

– Какая чудная погода! – сказал граф, подходя к Лизе и сядясь на низкое окно, – вы, я думаю, много гуляете?

– Да, – отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом, – я по утрам, часов в семь, по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой – маменькиной воспитанницей.

– Приятно в деревне жить! – сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу, – а по ночам, при лунном свете, вы не ходите гулять?

– Нет. А вот в третьем годе мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болезнь – бессонница находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое: луна прямо к нему ударяла.

– Странно, – заметил граф, – да ведь это ваша комнатка, кажется?

– Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнатку вы занимаете.

– Неужели?.. Ах, боже мой!.. Век себе не прошу этого беспокойства, – сказал граф, в знак искренности чувства выбрасывая стеклышко из глаза, – ежели бы я знал, что я вас потревожу...

– Что за беспокойство! Напротив, я очень рада: дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое; я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перелезу, погуляю еще на ночь.

«Экая славная девочка! – подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее и, как будто

усаживаясь на окне, стараясь ногой тронуть ее ножку. – И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в саду у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в его глазах большую часть прелести: так легка ему показалась победа над нею.

– А какое, должно быть, наслаждение, – сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи, – провести такую ночь в саду с существом, которое любишь.

Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным, прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того только, чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да, славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибки, и собиралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.

– Какая прелестная ночь! – сказал он. «Однако только про погоду и разговаривают», – подумала Лиза.

– Какой вид чудесный! – продолжал корнет, – только вам, я думаю, уж надоело, – прибавил он, по странной, свойственной ему склонности говорить вещи немного неприятные людям, которые ему очень нравились.

– Отчего ж вы так думаете? кушанье одно и то же, платье – надоест, а сад хороший не надоест, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот я нынче буду смотреть.

– А соловьев у вас нет, кажется? – спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительные условия свиданья.

– Нет, у нас всегда были; только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче на прошлой неделе славно запел было, да становой приехал с колокольчиком и спугнул. Мы, бывало, в третьем году, сядем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем.

– Что эта болтушка вам рассказывает? – сказал дядя, подходя к разговаривающим, – закусить не угодно ли?

После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры распрощались и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде, к удивлению Анны Федоровны, и ее руку, не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем взглянул ей прямо в глаза и слегка улыбнулся своею приятной улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.

«А очень хорош, – подумала она, – только уж слишком занимается собой».

XIV

– Ну, как тебе не стыдно? – сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату, – я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну, как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась.

Граф ужасно расхохотался.

– Уморительная госпожа! как она обиделась!

И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону.

– Вот те и сын друга семейства!.. ха, ха, ха! – продолжал смеяться граф.

– Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало, – сказал корнет.

– Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтоб я проиграл? Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал, когда не умел. Десять рублей, братец, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь, а то всегда в дураках будешь.

Полозов замолчал: притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него.

«Что за вздор эти почести и слава военная! – думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. – Вот счастье – жить в тихом уголке, с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!»

Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, несмотря на то, что был уверен, что и граф о ней думал.

– Что ж ты не раздеваешься? – спросил он графа, который ходил по комнате.

– Не хочется еще спать что-то. Туши свечу, коли хочешь; я так лягу.

И он продолжал ходить взад и вперед.

– Не хочется еще спать что-то, – повторил Полозов, чувствуя себя после нынешнего вечера больше чем когда-нибудь недовольным влиянием графа и расположенным взбунтоваться против него. «Я воображаю, – рассуждал он, мысленно обращаясь к Турбину, – какие в твоей причесанной голове

теперь мысли ходят! я видел, как тебе она понравилась. Но ты не в состоянии понять это простое, честное существо; тебе Мину надобно, полковничьи эполеты. Право, спрошу его, как она ему понравилась».

И Полозов было обернулся к нему, но раздумал: он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу тот, который он предполагал, но что даже не в силах будет не согласиться с ним, – так уж он привык подчиняться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее.

– Куда ты? – спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к двери.

– Пойду на конюшню, посмотрю: все ли в порядке.

«Странно!» – подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо-ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок.

Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцеловав, по обыкновению, нежно брата, дочь и воспитанницу, тоже удалилась в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала старушка столько сильных впечатлений, так что и молиться она не могла спокойно: все грустно-живое воспоминание о покойном графе и о молодом франтике, который так безбожно обыграл ее, но выходило у нее из головы. Однако же, по обыкновению, раздевшись, выпив полстакана квасу, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка тихо вползла в комнату. Анна Федоровна подозвала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и все не засыпала.

«Это кошка мешает», – подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно поворачивая пушистым хвостом, вскочила на лежанку; но тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок, тушить свечку и зажигать лампадку. Наконец и девка захрапела; но сон все еще не приходил к Анне Федоровне и не успокаивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она закрывала глаза, и, казалось, являлось в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, на висевшее белое платье. То ей казалось жарко в перине, то несносно били часы на столике и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. То она видела себя в вальсе с старым графом, видела свои полные белые плечи, чувствовала на них чьи-то поцелуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка...

«Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот небось спит себе дурак дураком, рад, что выиграл; нет того, чтоб поволочиться. Как тот, бывало, говорит на коленях: «Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя сейчас, и что хочешь?» – и убил бы, коли б я сказала».

Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платье, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату и почти упала к матери на постель...

Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в плаюк свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уже весь блестящий серебряным сияньем.

Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки; вся эта, все та же столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых, – все это вдруг показалось не то, все это показалось скучно, ненужно. Как будто кто-нибудь сказал ей: «Дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», – говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым, – идеал, ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какою-нибудь грубою действительностью.

Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастьем чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скудным счастьем. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?

«Господи боже мой! – думала она, – неужели я даром потеряла счастье и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?» – и она вглядывалась в высокое, светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит правда», – подумала она. Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени деревьев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда, – утешала она себя, – а вот если соловей запоет нынче ночью, то, значит, вздор все, что я думаю, и не надо отчаиваться», – подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкло. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

XV

Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой, росистой траве в глубину сада. «Ах я дурак! – твердил он бессознательно. – Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался: сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Лягушки торопливо, заставляя его вздрагивать, побултыхали из-под его ног в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал: как он перелез через забор, искал ее окно и наконец увидал белую тень; как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна; как то ему казалось несомненно, что она с досадой на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание; как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидал ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сторож снова крякнул и, скрипнув калиткой, вышел из сада. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставешком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать опять все сначала: уж теперь бы он не поступил так глупо... «А чудесная барышня! свеженькая какая! просто прелесть! и так прозевал. Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел наудачу вперед по дорожке крытой липовой аллеи.

И тут и для него эта ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая, кое-где с пробивающейся травкой или сухой веткой, дорожка освещалась кружками, сквозь густую листву лип, прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. Листья, серебрясь, шептались изредка. В доме потухли огни, замолкли все звуки; только соловей наполнял собой, казалось, все необъятное молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! какая чудная ночь! – думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. – Чего-то жалко. Как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась...» Тут мечты его перемешались, он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях; потом роль барышни заняла его любезная Мина. «Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать». И с этим раскаянием граф вернулся в комнату.

Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу.

– Ты не спишь? – спросил граф.

– Нет.

– Рассказать тебе, что было?

– Ну?

– Нет, лучше не рассказывать... или расскажу. Подожди ноги.

И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленной улыбкой подсел на постель товарища.

– Можешь себе представить, что ведь барышня эта мне назначила rendezvous!³

– Что ты говоришь? – вскрикнул Полозов, вскакивая с постели.

– Ну, слушай.

– Да как же? Когда же? Не может быть!

– А вот, пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна и что в окно можно влезть. Вот что значит практический человек! Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруд смотреть.

– Да это она так сказала.

– Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил! – прибавил он, презрительно улыбаясь на себя.

– Да что же? Где ты был?

Граф, исключая своих нерешительных неоднократных подступов, рассказал все, как было.

– Я сам испортил: надо было смелее. Закричала и убежала от окошка.

– Так она закричала и убежала, – сказал корнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, имевшую на него такое долгое и сильное влияние.

– Да. Ну, теперь спать пора.

Корнет повернулся опять спиной к двери и молча полежал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе; но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

– Граф Турбин! – сказал он прерывистым голосом.

– Что ты, бредишь или нет? – спокойно отозвался граф. – Что, корнет Полозов?

– Граф Турбин! вы подлец! – крикнул Полозов и вскочил с постели.

XVI

На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.

11 апреля 1856 г.

³ свиданье! (франц.).